

Марко Вовчок

Маша



Марко Вовчок
Маша

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21119134

Содержание

I	4
II	6
III	9
IV	11
V	14
VI	16
VII	18
VIII	20
IX	22
X	25
XI	27
XII	30

Марко Вовчок

МАША

I

Не родись ты пригож, а родись счастлив, говорят, и правду говорить истинную! Меня в молодости красавицею величали, а счастье-то мое какое! Ох, много я извела на своем веку! Муж у меня был буйный, грозный. А вот сестра из себя невглядная была, и слабая такая, хилая, худенькая, да талан ей бог послал: муж в ней души не чаял, и деточки росли. Бывало, как приедет мой хмельной да разбушуется, выгонит меня – хоть на дворе мороз трещи, хоть дождь лей: ему ни почем, не пожалеет, – я пойду к сестриному окошечку, постою, погляжу. Сидит она с мужем, говорят себе любовно, тихо у них да согласно. Слава богу, подумаю, хоть сестре талан вышел! Бывало, и не зайду к ним, не покажусь: что их собою печалить! Ведь догадаются, с какой радости поздним вечером брожу.

И вот сестра-то моя, живучи и в приволье, и в любви, все чахла да чахла. Настанет весна, свежая травка пробивается, ручьи журчат, солнышко блещет – людям дышится вольнее, а она сляжет: грудь болит, кашель ее душит. Да все еще подержалась бы она, может, на свете, если бы не помер муж.

Ездил за дровами в ненастье; приехал – захворал да на пятый день богу душу отдал. Схоронила его сестра, и сама красного лета не дождалась. Перед смертью она и говорит мне: «Сестра! Вот я умираю, – будь же ты в моем доме хозяйка, моим детям мать. И им будет лучше, и тебе веселее; ведь и ты сиротеешь одинокою».

А я тогда уж вдовой была.

Распродала я кой-какие пожитки свои да и перешла к сестриным детям. После нее двое осталось: сынок и дочка. Сын по десятому году остался, дочка по четвертому. Добрые были деточки, спасибо им! Отроду мне виду косога не показали, слова грубого не слыхала от них, покоили меня, почитали. Взрастила я их, взлелеяла, и стали они мне что родные дети.

II

Брат и сестра, а не схожи были нравом, уж как не схожи! Федя был мальчик веселый, смиренный, покорный, а Маша уж такая своеобразливая, такая быстрая, пытливая! Бывало, скажешь Феде: Федя, голубчик! Не делай того или другого, не ходи куды, не говори чего, – он покорится охотно, – не надо, так и не надо! И другим себе займется. А Маша допытываться станет: да отчего, да почему? И свои доводы у ней найдутся, да еще, случается, и меня-то, старуху, с толку собьет, что я виновата выйду, а она права. И ко всему-то Маша прислушивается, все замечает, все проведает: что ты ни спроси – все слышала, все знает да еще обсуждает своим умишком детским. Что это за душа у ней была зарная, живая, неукротимая! Что, бывало, задумала – уж сделает; захотела чему научиться – научится. Ну, вот хоть примерно сказать; пожелалось ей кружево плести. «Где тебе, Маша, – говорю ей, – ручонки-то у тебя какие?» А ей всего седьмой годок тогда пошел. Она все просит: покажите, научите! Я показала ей. Сидела моя девочка, почитай, что с неделю, путала-путала, просто не ела, не пила, пока не выучилась. Подходит, мне показывает, а глазенки-то так и сяют, так и бегают. Я беру усмехаючись, глянула – диву далася: ведь выплела кружево ровно, славно. И вот так-то во всем, бывало, своего добьется. А с виду тихая и не речистая.

Вот пошел Маше десятый годок. Случись мне с Федей в город поехать, того-другого припасти надо было; еду да и наказываю Маше: «Смотри, Маша, никуда не отлучись из дому; жди нас, гостинца привезем». Она обещалась. А слово у нее, даром что детское, верное, — я спокойно себе отъехала.

Пока мы огляделись, пока закупили, воротились домой поздним вечером; в избу вошли — Маша не встречает. Окликаем ее — тихо, нету. Подождали — все нету. Пошел Федя к соседям, спросил. А соседи рассказывают: «Маша ваша все сидела подле своей избы на завалинке, с нашими ребятишками играла; а тут барыня проходила деревней, остановилась, посмотрела и спрашивает у вашей Маши: «Что это ты так расшумелась? (А они тогда в коршуны играли). Свою барыню знаешь? Чья ты?» Маша оробела, что ли, не ответила, а барыня-то ее выбрала: «Дура растешь, не умеешь говорить!» Маша так и сгорела вся, и заплакала, а барыне жалко, верно, стало: «Поди сюда, дурочка, поди ко мне! — говорит. — Что смотришь исподлобья, поди поклонись барыне!» Да видит, что Маша не идет: «Подведите ее ко мне!»—приказывает ребятишкам. Маша как бросится бежать, и не догнали. После мы ее и не видали, не выходила на улицу. А барыня старосте говорила: «Что ты таких девчонок не посылаешь хоть в саду дорожки чистить? Ты посылай!»

Пришел Федя, рассказал мне; дрогнуло у меня сердце. «Где же это Маша делась?» — думаю. А Федя сам не свой: крепко он сестренку любил. Ждали мы, ждали, думалидума-

ли да и пошли ее искать, всю деревню обошли, окликаем ее потихоньку – нет как нет! Идем уж домой огородами соседскими, конопляниками. Вдруг как бросится к нам Маша.

Схватили мы ее на руки, поцеловали крепко: слава богу, жива, нашлась!

III

– Пойдем домой, Маша! – говорю, не поминаю ей, что она напроказила, вижу – девочка перепугана.

– Дай я тебя на руках донесу, Маша! – говорит Федя, радостный такой.

Маша все обнимала нас, а тут стала вырываться.

– Пойдем домой. Маша!

Упирается: «Не пойду».

Мы ее уговаривать. «Не пойду, не пойду. меня барыня возьмет!».» Да давай прижиматься ко мне, проситься: «Не отдавайте меня ей! Спрячьте меня!»

– Не бойся, родненькая, не бойся! Это тебя постращали только.

Кое-как уговорила ее, привела домой, успокоила да тогда уж и говорю ей:

– Маша, чего ты барыне-то не ответила? Нехорошо, дитятко!

Так она и вспыхнула вся.

– Не маленькая ты, Маша, – все увещаю, – знаешь, чай, что барыне покориться надо; хоть она и сурово прикажет – слушаться надо.

– А если не послушаешься? – промолвила Маша.

– Тогда горя не оберешься, голубчик, – говорю. – Любо разве кару-то принимать?

А Федя даже смутился, смотрит на сестру во все глаза.

– Убежать можно, – говорит Маша, – убежать далеко. Вот крестьянские летось бежали.

– Ну, и поймали их, Маша. а которые на дороге померли!

– А пойманных-то в острог посадили, распинали всячески, – говорит Федя.

– Натерпелись они и стыда и горя, дитятко!

Я говорю, а Маша все свое:

– Да чего за барыню все так стоят?

– Она барыня, – толкуем ей, – ей права даны; у ней казна есть. так уж ведется.

– Вот что! – сказала девочка. – А за нас-то кто ж стоит?

Мы с Федей переглянулись: что это на нее нашло?

– Неразумная ты головка, дитятко! – говорю.

– Да кто ж за нас? – твердит.

– Сами мы за себя, да бог за нас! – отвечаю ей.

IV

С той поры только и речи у Маши, что про барыню. «И кто ей отдал нас? И как? И зачем? И когда? Барыня одна, – говорит, – а нас-то сколько? Пошли б себе от нее куда захотели, что она сделает?» Откуда у ней такие мысли брались, что в пору только старому человеку подумать! Отгонишь ее: «Полно тебе. Маша, молоть!» Она себе сядет, задумается, да иной раз, подпершись ручкой, так долгодолго сидит, думает.

Вдруг одним утром к нам староста на двор. Маша завидела его, побелела и отбежала в уголок. Вошел и кличет Машу на работу. «Иди, – говорит, – на барщину, красная девушка!» Шуткою хотел развеселить нас, что ли, – добрый был человек покойник, – да видит, что мы головы повесили, – и сам вздохнул.

– На меня не пеняйте, – молвил, – я сам человек подневольный!

– Иди, Маша, – говорю.

А на Маше лица нет. Крепко уцепилась за лавку ручонками.

– Не пойду, – шепчет, – не пойду!

Мы ее уговаривать, усовещивать: «Через тебя и нам достанется!» – а у нее одно слово ответное: «Не пойду!»

Что с ней сделаешь? И жалко ее укорять-то: девочка совсем потерялась. Мы отговорились: больна Маша.

Ведь доля-то наша такая, что порою поневоле слуша-
вишь! – Горькая доля, скажу вам!

Надеялась я, что ласкою ее ублажу, и все тихонько угова-
ривала. Не слушается девочка!

Прошел год, другой, третий. Уж сколько мы хлопот,
сколько горя набрались с этой Машей! Полоть ли огороды
барские кличут, по ягоды ли господам посылают. «Не могу, –
говорит Маша, – я больна!» А барыня ее помнила и все, бы-
вало, спрашивает: «Отчего нет на работе Ивановой Машки?
Больна? Чем это больна? Приведите, я посмотрю ее сама». И
водили к ней Машу сколько раз. «Чем больна?» – «Все бо-
лит!» Барыня побранит, погрозит и прогонит ее. «Чтоб была
завтра на работе! – прикажет. – Слышишь?» – «Слышу», –
ответит Маша, а не пойдет и завтра. Стала барыня очень гне-
ваться, и за нас с Федею принималась, что мы Маше потака-
ем.

А мы сами тому не рады, сами ее увещеваем – иди! Один
раз грех, точно, был, что мы слушавили, сказали, что боль-
на, – кто ж ее знал, что за это уцепится. Стоило только Ма-
ше поклониться, попроситься – барыня ее отпустила бы са-
ма, да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глаз-то на
барыню не поднимет, и голос-то глухо звучит у ней; а ведь
известен нрав барский: ты обмани – да поклонись низко, ты
злой человек – да почтителен будь, просися, молися: ваша,
мол, власть казнить и миловать – простите! – и все тебе про-
ститися; а чуть возмутился сердцем, слово горькое сорвалось

– будь ты и правдив, и честен – милости над тобою не будет: ты грубиян! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а ведь как она Машу донимала! «Погодите, – бывало, на нас грозит, – я вас всех проучу!» Хоть она и не карала еще, да с такими посулками время невесело шло.

V

– Вот, Маша, – говорит Федя, – какая у тебя совесть-то! Нипочем тебе в глаза неправду говорить. Чем ты больна? Только бога гневишь! Я ведь вижу, как ты по вечерам танки-то водишь. До барыни, думаешь, не дойдет? Нехорошо, что ты нас под барский гнев подводишь!

Махнул Федя рукой да и замолчал. Маша вспыхнула, вздрогнула, а сказать ничего не сказала. Только с той поры она не идет на улицу. Ну, думаю, недолго она посидит – соскучится! Проходит неделя, проходит месяц – она все дома, – только, припавши к окошечку, смотрит, как другие гуляют. А у нас, в погожий вечер, на улице сберутся и девушки, и ребятишки сбегутся, – тут пойдут игры разные, беготня, песни, Иной раз подумаешь – тонко звенящими колокольчиками полна целая улица. Так и разливается веселый смех молодой, то писк слышен, то плач ребячий. Вышла молодуха унять озорников и все покрыла своим голосом, звонким, строгим. А Маша тоскливо прислушивается, отклик всякий, всякое слово ловит, а сама не замечает, как у нее слеза сбежит горячая. Жду-пожду, что вот она попросится, – нет, видно, не дожدهшься! Совестьется, думаю, девочка, дай уж я выручу ее.

– Маша, – говорю, – чего не пойдешь, не погуляешь, дитятко? Поди-ка, развейся немножко.

Сама гляжу на нее: вот обрадуется! А она мне этак спокойно отвечает:

– Нет, – говорит, – я не пойду.

– Да что ты. Маша? Морочишь меня, что ли?

– Не пойду, – опять проговорила, а сама и бровью не шевельнет.

– На меня, что ли, сердисься? – спрашивает Федя. – Ты лучше позабуди, – просит ее, – барыня крепко меня донимала за тебя, так я упрекнул. Самому, видишь, горько стало. Не сердись. Маша, поди на улицу!

– Я, – отвечает, – Федя, не сердита, только ты не упрашивай меня понапрасну – не пойду.

И не раз мы ее уговаривали, просили, – как просили-то!

– Не пойду!

VI

Не на шутку я стала тревожиться. Сидит она целый день задумавшись, и слова от нее не добьешься; худеть стала.

– Полечить ее надо, Федя, – говорю, – надо дерновской лекарке поклониться.

А на Дерновке лекарка была умная, знающая. Как услышала об этом Маша:

– Тетушка, – говорит, – милая, не лечите вы меня – не вылечите!

Что ее слушать, думаю, и таки послала Федю на Дерновку.

Привез лекарку; осмотрела она Машу.

– Недуг ее, видно, от тоски больше, – говорит. (Поглядела на всех на нас.) – Кажись, обижать ее у вас некому; на зазнобушку сердечную еще пора не пришла, – не с глазу ли? Расскажите-ка мне, что вы сами думаете?

– Не знаем, голубушка, – говорю.

Побоялась признаться, что барский глаз сглазил.

– Эх, родные, уж вы не потаите, правду мне скажите, – я вас не выдам.

Так она добродушно это сказала, что я ей и призналась: так вот и так, на барыню я думаю.

– Бывает, родная, бывает, – промолвила старушка.

– С той поры неможешь, касатка? – у Маши спрашивает.

А Маша не то усмехнулась, не то помрачилась:

– С той поры! – ответила.

Покачала головой лекарка, и еще пристальнее поглядела на Машу, и опять головой покачала. Умыла ее и травку какую-то дала. «Ты травку пей-таки, до восхода солнечного».

Провожая я старушку да и спрашиваю:

– Что, голубушка, чем утетишь меня?

– Да как бог даст! – говорит. – От девочки не добьешься ничего, словно она сама свой недуг-то голубит!

VII

Пристала я к Маше: пей да пей травку!

Скрепя сердце, пила она; ну, а помощи не было: изводится просто девочка – целую зиму мы с нею горевали. С весною, с теплом словно полегчало; цветней стала, в рост пошла. Дивно только мне, что все она будто сонная целый день ходит. Молчу пока, да замечаю. Там уж так пошло, что где она ни присядет, там сейчас и заснет. Беспokoилась я этим, да вижу, девочка все краше да краше, – может, думаю, это недуг выходит, и все молчу себе.

Вот одною ночью – звездно, тепло было – немоглось мне, и я не спала. И вижу, вскочила моя Маша, постояла, прислушалась – все тихо, – и выскользнула в дверь. Сердце у меня забилось. Жду, жду – долго ее нету. Не утерпела я, вышла. На дворе пусто, – где она? Да гляжу на огород, а по огороду что-то белое так и носится, так и вьется. Перепугалась я до смерти.

– Маша! Маша! – закричала.

Она как ахнет, и словно обмерла. Я к ней.

– Что ты тут делаешь?

Схватила ее за руку, привела в избу, Федю разбудила, лучину засветила, смотрю на нее, а она белая-белая стоит. Стали мы допрашивать, укорять; у ней слезы градом.

– Не воспрещайте, родные! Я ведь словно в неволе сижу!

Тяжело мне! Часто не спится по ночам; я как выйду, погуляю – полегчает. Никто того не знает, не ведает – беды вам никакой не будет, а мне-то хоть ночью на свет божий поглядеть, хоть дохнуть вольно!.

Речь ее такая живая, торопливая, слезы сыплются.

– Бог с тобою. Маша! – говорю. – Жить бы тебе, как люди живут. Отбыла барщину да и не боишься ничего. А то вот по ночам бродишь, а днем показаться за ворота не смеешь.

– Не могу, – шепчет, – не могу! Вы хоть убейте меня – не хочу!

А Федя только приговаривает: «Быть беде!» Убеждать, уговаривать, – а она нас не словами, горячими слезами молит.

VIII

Ну, мы и не стали перечить: видим, ее не переупрямишь: страшно еще, чтоб чего над собою не сотворила – от нее все станется! И каждую ночь, бывало, гуляет она. Я нарочно подкрадусь, смотрю – то сядет она посидит, то встанет, походит идохнет так вольно, глубоко. Уж пускай мне господь простит за то, что я ее покрывала! Ведь как жалка она моему сердцу-то была!

Стали мы свыкаться с ее чудесами, со своим горем. Думали, надеялись, что в лета войдет – образумится. Года-то шли, уходили, а утешения нам не было.

На шестнадцатом году как расцвела Маша! Высокая, статная, белая, как кипень, уста алые, глаза ясные, брови дугой – красавица. И хороша, и молода, а как, бывало, мне на нее глядеть-то горько! Что за жизнь ее? Ни утехи, ни радости!

– Ох, Маша моя родная! – говорю ей. – Если б тебя господь от тоски твоей помиловал! Зажилось-то бы как весело! Замуж бы ты пошла.

– Что ж замужем-то! Одинаково! – отвечает.

– Не прогневи ты бога, Маша! Что это ты на себя накликаешь? Ты молись да надейся, бог счастье-талан пошлет.

– Какое счастье! – сказала да горько так усмехнулась.

– Ах, Маша! – говорю. – Да я вот целый век горевала, а все людскому счастью верю, а ты еще недавно из пеленок вышла:

тебе ли решать, моя желанная! Есть счастье!

– Есть, – перебила, – да не про нашу честь! И опять усме-
хается.

– В божьей воле, дитяtko! Вот твоя мать покойница нешто
не была счастлива?

– То она, – говорит, – а то я.

Слушая такие речи, и Федя стал задумываться, пригорю-
нился.

IX

В ту пору барыня как-то запомнила про Машу – или уж ей самой надоело ее мучить, – нам жилось поспокойнее. Изредка зайдет кто из соседей или с деревни девушка к Маше забежит проведать ее, и дивуются все, что болеет Маша, а цветет, как маков цвет.

И стали ходить по селу слухи разные: одни говорят, что притворяется Маша, работать господам ленива, а другие – что тут замешалась недобрая сила. Ох, не раз и мне самой приходило это в голову: только молюсь, бывало, заступнице – заступи!

Плачу я, бывало:

– Вот, Маша, что люди про тебя говорят! Она молчит, словно не к ней речь.

– Что ж, дитяtko? Тебе, кажись, все нипочем?

– Тетушка! – промолвила. – Есть у меня, может, кручина потяжелей!

А какая, не сказала.

А по деревне ропот: «Мы весь век свой на барщине; уж наши косточки болят, у нас дети калечатся, – некому приглядеть – и старый и малый на работе, а вот Марья дома нежится – что ж мудреного, что краше ее на деревне нету! Белоручки-то всегда пригожи!» (А Маша хоть тосковала, а свежая и пышная такая была.) И кричат: «Что это за болезнь такая,

что не сушит, а красит?»

И до барыни этот ропот дошел.

Есть ведь такие люди на свете, что как только им жутко приходится, они и другого под беду нороят: словно им от чужого горя легче станет.

Барыня опять вскинулась на Машу, послала за нею: «Явись сейчас!» – «Не могу, – говорит Маша, – я больна!» Велела Машу силою вести. Повели ее. Барыня ее встречает, – бранит, корит, сама ей серп в руки дает да глазами на нее сверкает: «Выжни мне траву в цветнике! – и стала над нею. – Жни!» Маша как взмахнула серпом, прямо себе по руке угодила; кровь брызнула, барыня вскрикнула, испугалась: «Ведите ее, ведите домой скорей! Натя платочек – руку перевяжите!».

Привели Машу – господи, сумрачная какая! Сорвала с руки барский платочек и далеко от себя отбросила.

– Маша! – говорит ей Федя. – Не след тебе барыню так гневить. Если б это трущовская, ведь давно со света сжила бы!

Маша ничего на братнины слова, только у ней ярче глаза блестят.

– Сердита на тебя, – уговаривает все Федя, – а платочек свой дала, примочку сейчас прислала – пожалела тебя.

– Да, – промолвила Маша, – пожалела! Они, Федя, господа-то твои добрые, что и говорить, – они в головку целуют да мозжок достают!

Вздрогнули мы, услышавши слова такие.

Х

Вижу я, Федя себе затосковал крепко: где ласковость прежняя, добродушие веселое! Ходит угрюмый: все ему не по нраву, все не по нем; от работы отбился.

– Что, Федя? Что, голубчик? – спрашиваю.

– Да что, тетушка, тоска меня одолевает; просто свет белый не мил!

– Чего тоскуешь-то, Федя? Тебе ли тосковать? Ты ли не молод, не пригож?

– Правду, тетушка, Маша говорит: горемычное наше житье!

– Что ж, Федя, слезами моря не наполнить!

– Да и слез-то не уймешь, – ответил.

Думала я, думала, чем бы горю помочь, да и надумала.

– Федя, – говорю, – пора тебе жениться, давно пора, дружок. Коли тебе свои девушки не по сердцу, поехал бы ты на Дерновку, поглядел – там невесты славные!

– Дерновские все вольные, – отозвалась Маша.

– Что ж, что вольные? – говорю, – Разве вольные не выходят за барских? Лишь бы только им жених наш приглянулся.

– Если б я вольная была, – заговорила Маша, а сама так и задрожала, – я б, – говорит, – лучше на плаху головою!.

– Уж очень ты барских-то обижаешь, Маша! – проговорил Федя и в лице изменился. – Они тоже ведь люди божий,

только что несчастные!

Да и вышел с тем словом.

– Маша, – говорю, – дитяtko, что ты ему все в уши жужжишь, – запечалила ты его.

– Есть у Феди свои глаза, свои уши, тетушка; сам он свою беду узнает. А ты-то, тетушка, будто не плачешься на свою судьбу? Сладко тебе живется, что ли?

– Эх, дитяtko! Поплакала, погоревала я на своем веку – будет с меня! Я уж ни за чем не гонюсь, стара уж я, немощна – мне б только уголок теплый да хлеба кусок, – и довольна я! Не сокрушайся, – говорю, – моя желанная, что пособишь-то? Разве что веку своего не доживешь!

– Да хоть и умру, – промолвила. – Что тут-то мне, на свете-то?

Тоскливо так поглядела и руки заломила.

Поди, сговори с нею! Ты ее развеселить хочешь, а она тебя скорей запечалит.

XI

А Федя все сумрачней да угрюмей, а Маша точно и взаправду начала прихварывать, – на глазах у меня тает; слегла. Один раз я сижу подле нее – она задумалась крепко, – вдруг входит Федя бодро так, весело: «Здравствуйте!» – говорит. Я-то обрадовалась: «Здравствуй, здравствуй, голубчик!» Маша только взглянула – чего, мол, веселье такое?

– Маша! – говорит Федя. – Ты умирать собиралась, молодая еще, видно, ты умирать-то!

Сам посмеивается. Маша молчит.

– Да ты очнись, сестрица, да прислушайся! Я тебе весточку принес.

– Бог с тобой и с весточкой! – ответила. – Ты себе веселись, Федя, а мне покой дай.

– Какая весточка, Федя, скажи мне? – спрашиваю.

– Услышишь, тетушка милая! – и обнял меня крепкокрепко и поцеловал. – Очнись, Маша! – за руку Машу схватил и приподнял ее. – Барыня объявила нам: кто хочет откупаться на волю – откупайся, очень дешево отпущу. Молодой барин, слышно, в карты проигрался, так деньги ей до зарезу надобны. Дядя Матвей порешил, что не то пожитки, руку свою правую продам, да откуплюсь. Порешил: на завод наймусь, – не то что службу там всякую отбывать, – камни буду на себе возить. И все согласны, что ему откупиться следует: семья у

него – всего жена да мальчишка, как-нибудь биться можно.

Рассказывает Федя, а мы слушаем. Я хочу что-то сказать, да слова не приберу. Вдруг Маша как вскрикнет, как бросится брату в ноги! Целует и слезами обливает, дрожит вся, голос у ней обрывается.

– Откупи меня, родной, откупи! Милый мой, откупи меня! Господи! Помоги же нам, помоги!

Федя уж и сам рекою разливается, а у меня сердце покапало – стою, смотрю на них.

– Погоди ж, Маша, – проговорил Федя, – дай опомниться-то! Обсудить, обдумать надо хорошенько!

– Не надо, Федя! Откупайся скорей. скорей, братец милый!

– Помехи еще есть. Маша, – я вступилась, – придется продать, почитай, последнее. Как, чем кормиться-то будем?

– Я буду работать, братец! Безустанно буду работать! Я выпрошу, выплачу у людей! Я закабалюсь куда хочешь, только выкупи ты меня! Родной мой, выкупи! Я ведь изныла вся! Я дня веселого, сна спокойного не знала! Пожалей ты моей юности! Я ведь не живу – я томлюсь! Ох, выкупи тдедя, выкупи! Иди, иди к ней.

Одевает его, торопит, сама молит-рыдает! Я и не опомнилась, как она его выпроводила. Сама по избе ходит, руки ломает. И мое сердце трепещет, словно в молодости, – вот что затевается! Трудно мне было сообразиться, еще труднее успокоиться.

Ждем мы Федю, ждем, не дождемся! Как завидела его Маша, – заплакала, зарыдала, а он нам еще издали кричит: «Слава богу!» Маша так и упала на лавку. Долго, долго еще плакала. Мы унимать.

– Пускай поплачу, – говорит, – не тревожьтесь: сладко мне и любо, словно я на свет божий нарождаюсь! Теперь мне работу давайте! Я здорова. Я сильная какая, если б вы знали!

XII

Вот и откупились мы. Избу, все спродали. Жалко мне было покидать, и Феде сгрустнулось: садил, растил – все прощай! Только Маша веселая и бодрая – слезки она не выронила. Какое! Словно она из живой воды вышла – в глазах блеск, на лице румянец; кажется, что каждая жилка радостью дрожит. Дело так и кипит у нее. «Отдохни, Маша!» – «Отдыхать? Я работать хочу!» – и засмеется весело. Тогда я впервые узнала, что за смех у нее звонкий! То Маша белоручкой слыла, а теперь Машу первой рукодельницей, первой работницей величают. И женихи к нам толпой.

А барыня-то гневалась – боже мой! Соседи смеются: «Холопка глупая вас отуманила! Она нарочно больною притворилась. Ведь вы, небось, даром почти ее отпустили?» Барыня и вправду Машей не дорожилась.

Поселились мы в избушке ветхой, в городе, да трудиться стали. Бог нам помог, мы и новую избу срубили. Федя женился. Маша замуж пошла. Свекровь в ней души не слышит: «Она меня, словно дочь родная, утешает – что это за веселая! Что за работающая!» Больна с той поры не бывала.

Федю тоже бог благословил: живет с женою согласно, и я при них живу, детушек нянчу. Два сынишка у него, такие живчики.